Негромкие люди Марии Метлицкой

Читайте повести и рассказы

Марии Метлицкой

в серии «Негромкие люди»:

. . . . . .

Бабье лето

Понять, простить

Обычная женщина, обычный мужчина

Свои и чужие

На круги своя

Такова жизнь

Странная женщина

Незаданные вопросы

Прощальная гастроль

Цветы и птицы

Жить

Черно-белая жизнь

Дорога на две улицы

И всё это – жизнь

Плохой хороший день Алексея Турова

Мария Метлицкая

Плохой хороший день Алексея Турова

Москва
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М54

Оформление серии *Петра Петрова*

В коллаже на обложке использована фотография:
© Suradech Prapairat / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Метлицкая, Мария.
М54 Плохой хороший день Алексея Турова / Мария Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.

ISBN 978-5-04-160315-1

Многие ли с уверенностью могут сказать: ни о чем в жизни не жалею, ничего переиграть не хочу, даже если бы было можно?

Наверное, таких нет совсем. Все делали ошибки. Помните фразу из культового советского фильма: «Кто в молодости не ошибался!»

Туров считал себя состоявшимся, удачливым человеком, и если бы ему предложили что-то переиграть в жизни, просто посмеялся бы: о лучшей жизни и мечтать нельзя. Он жил не задумываясь и не вспоминая, пока не встретил старого друга Градова, человека из далекого прошлого, из бедной — да что там, нищей — юности, когда так сладко мечталось, когда он был уверен, что счастье — не в деньгах и не в социальном статусе, а в любви. Настоящей, от которой перехватывает дыхание, от которой бросает от острого счастья к беспросветной тоске.

И такая любовь у него была. И была музыка, и были мечты.

Но он перерос все это, что ли. Забыл, вычеркнул из жизни.

Встреча со старым другом словно растопила респектабельного господина Турова. Теперь он понимает: многое хотелось бы переиграть. Но возможно ли?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-160315-1

© Метлицкая М., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Девять дней в октябре

Конечно, домашний телефон надо было отключить. Сейчас даже непонятно, как мы жили без мобильных телефонов — этого чуда конца двадцатого века? А ведь жили! И кстати, неплохо жили.

Рина отлично помнила и старые телефонные будки — металлические, холодные зимой и душные летом. Вдобавок остро пахнувшие мочой. Плюс к этому — непременная очередь из любопытных и обязательно вредных граждан, минут через пять начинающих барабанить в стекло: дескать, ваше время вышло!

В конце восьмидесятых тяжелые трубки на металлическом шнуре, напоминающем шланг от душа, в мгновение ока оказались срезаны. Просто срезаны — и все. И было непонятно, что это — обыкновенное хулиганство и варварство или способ добычи денег.

Возможно, трубки эти куда-то сдавали. Времена были тяжелые, голодные. В столице не горел ни один фонарь. В подъездах не было лампочек – заходить было страшно.

Рина хорошо помнила свою первую мобильную трубку – тяжеленую, толстенькую, фирмы «Сони». Страшно дорогую, просто безумно дорогую – отвалить за нее пришлось, кажется, три тыщи баксов. Поохала, покряхтела, но отвалила. Куда ж без нее успешному деловому человеку? А деловой и успешной она тогда уже была.

Вернее, стояла, как говорится, в начале большого пути. А как это далось, об этом не будем – тяжко и временами противно. Как только Рина начинала вспоминать «лихие девяностые», черт бы их побрал, ее бросало в холодный пот.

Именно тогда она, интеллигентная московская девочка, и поняла, что вся жизнь – борьба. Хочешь быть успешной и состоятельной – вперед! Вперед и с песнями. Только песни эти, увы, не всегда были лиричными и мелодичными. Да уж.

Итак, чертов домашний, он же городской. Так вот, почему не отключила и продолжала платить? Да не в деньгах, конечно же, дело. Какие там деньги – смешно! Просто по инерции, по привычке: есть телефон – значит, надо платить. А ведь даже маму звонить по нему отучила – правда, на это ушло пару лет. «Почему? – сопротивлялась мама. – Это же дешевле, Рина! Из-за границы на сотовый? Ты сумасшедшая!»

Но Рина терпеливо в сотый раз объясняла: «Мама! Про деньги не думай. Тариф у меня безлимитный и оплачивается компанией. И мне так удобнее, понимаешь? Сотовый я могу контролировать. Вижу номер звонящего. Хочу – беру трубку, хочу – нет. Хочу – внесу человека в черный список и удалю насовсем. А город-

ской вроде как надо брать. Ну на нервы действует этот трезвон, понимаешь? Вот и хватаешь трубку. Злишься, а хватаешь». — «Ну тогда ладно», — растерянно повторяла мама. Хотя в душе наверняка с упрямой дочкой не соглашалась и вновь принималась возражать: «Рина, я читала, что говорить по мобильному безумно вредно, тем более столько, сколько говоришь ты! Рак мозга, не про нас будет сказано!» — Мама делала большие глаза и плевала через плечо.

Ну и в конце концов звонки на домашний затихли и постепенно сошли на нет. Нет, с работы на городской не звонили. Ну и знакомых она отучила. Звонила, пожалуй, только тетка Тамара — единственная родственница и мамина двоюродная сестра. Вот ее, упрямицу и консерватора, отучить было сложно. Но она три года назад умерла. Больше родни у них не было. На «город» звонил и отец — сто лет назад. Точнее — лет восемь. Ну а потом он звонил на мобильный. А Рина ему не звонила вообще. Никогда.

Детские обиды и комплексы, знаете ли.

Детские... Правда, когда он ушел от них, ей было почти пятнадцать. Какое уж тут дитя, прости господи! А в десятом классе у нее случился вполне взрослый роман. Но, скорее всего, именно в этом сложном и довольно противном возрасте, называемом пубертатом, ей было сложнее пережить развод родителей. Наверняка лет в семь или в десять она бы перенесла это спокойнее. Но разве взрослые думали о ней? Нет, они думали о себе. Вернее, ее любимый, ее обожаемый папа думал о себе. А она страдала. Ну и последствия — на первом курсе поспешно, как говорится, очертя бестолковую голову, выскочила замуж. «Очень удачно», — усмехалась тетка Тамара.

С Вадиком они развелись через полгода. Развелись без сожаления, и, выйдя из загса, Рина громко, с облег-

чением, выдохнула — ну все, свобода, как хорошо-то, господи!

Было и вправду хорошо — стоял месяц май, светило солнце, и оглушительно пахло распустившейся накануне черемухой. Они простились у дверей загса — кивнули друг другу, как чужие люди, и разошлись. Рина посмотрела Вадику вслед и подумала: «Ничего себе! Этот чужой и ненужный человек был моим мужем? Пусть полгода, пустяк, ерунда. Но мы завтракали и ужинали за одним столом, ходили в кино и в театры, тусовались в студенческих компаниях, в конце концов, спали в одной постели».

И что удивительно — при всей легкости их расставания она еще долго помнила запах его одеколона. Да что там помнила — вздрагивала, втягивала запах носом, если случайно попадался такой же, но тут же хмурилась — черт, опять! Наваждение просто. А у наваждения, как известно, логики нет.

Да и вообще, что в голову лезет, ей-богу. Сколько воды утекло, сколько пройдено и пережито, а она про этого дурацкого Вадика, давно забытого, случайного, студенческого мужа, которого вряд ли сегодня она бы узнала при встрече.

Рина только вышла из ванной — горячий душ, жирный питательный крем на шею и лицо, недовольный взгляд в зеркало со стороны — как бы со стороны. Хотя, если бы со стороны, разве она бы так расстроилась? Запахнула халат, пошла в кухню, бросила тоскливый взгляд на холодильник и тут же на часы — пол-одиннадцатого, ужинать точно нельзя. А жрать, между прочим, хочется! Ну почему вечером всегда хочется есть? Не утром, не днем, а именно вечером, перед сном, когда делать этого точно нельзя? Пару минут она раздумывала, вспоминая, что есть в холодильнике.

Негусто, однако: бельгийская баночная ветчина — раз. Конечно, любимый дор-блю — без него она не жила. Но жирный и острый дор-блю предназначался на завтрак, а до него было еще далеко — целая ночь.

Рина пожалела себя, и аккурат в эту минуту, когда настроение стало совсем паршивым, раздался этот дурацкий звонок. Она не сразу поняла, что это городской телефон, — сто лет не слышала его занудную трель.

Вздрогнула и посмотрела на маленький столик, стоящий у окна. Она с удивлением разглядывала аппарат, словно удивляясь, что это ископаемое, этот монстр, этот анахронизм вообще задержался так надолго в ее модном и красивом доме.

Аппарат, кстати, был еще весьма хорош — винтажный, тяжелый, поблескивающий при слабом свете торшера, когда-то безумно дорогой и дефицитный, модный, из зелено-желтого, в разводах, оникса, сделанного, естественно, под антик, тогдашнюю моду.

Рина стояла в оцепенении, растерянная и даже испуганная. А телефон продолжал трезвонить. Очнувшись, она подалась вперед, собираясь с силой, подкрепленной раздражением и даже злостью, выдернуть шнур из розетки. Взять и выдернуть наконец — ну и черт с ним, что навсегда!

Но что-то ее остановило, и она осторожно и медленно подняла трубку — тяжелую, прохладную, гладкую и приятную на ощупь.

Трели оборвались, но подносить трубку к уху Рина не спешила, продолжая держать ее в руке, и услышала на том конце провода крик:

— Ира, Иришка! Ты меня слышишь? Але! Господи, да что за черт! Слышишь, а? Ира!

Следом послышался непонятный полушум-полусвист, и до Рины дошло, что звонивший дует в трубку — так

делали сто лет назад в старых фильмах. Но и тогда это было смешно.

Почему-то бешено застучало сердце и перехватило дыхание, и Рина медленно и осторожно поднесла трубку к уху:

— Да. Я вас слушаю.

— Ох, слава богу! Иришка, ты?

— Господи, да, конечно, я! — Хотелось ответить резко. — А кто же еще?

Женский голос в трубке дрогнул, и послышались рыдания:

— Ира, Ирочка! Санечка умер! Умер наш Санечка, слышишь, Иринка? Ушел!

Рина молчала, прокручивая в голове возможные варианты: Санечка, Иришка? А кто это, господи? Кто эти люди? А, да просто ошиблись номером! Это она сразу не поняла.

— Послушайте, — хриплым от волнения голосом проговорила Рина. — Вы, наверное, не туда попали. То есть не наверное, а наверняка, — уверенно добавила она и строго сказала: — Набирайте внимательнее! Все-таки ночь на дворе. И завтра, между прочим, рабочий день.

«Глупость какая-то, — мелькнуло у Рины в голове. — У этой всполошенной тетки горе, судя по всему, умер близкий человек, муж, сын или брат. А я тут нотации читаю — поздно, не поздно». Она нервно кашлянула, собираясь положить трубку, в которой было оглушительно тихо. Но через пару секунд на том конце женщина тихо сказала:

— Ир, ты чего? Не узнала меня? Это ж я, Валентина! Ну... папина жена! Санечка умер, отец твой! Меня плохо слышно?

Воцарилась тишина. Обе женщины словно раздумывали, как им поступить дальше.

Валентина нарушила молчание первой.

— Ир, это ты? Ты что? — растерянно повторила она. — Не поняла?

— Не поняла. Извините.

«Папина жена» Валентина горестно вздохнула:

— Это ты меня прости, Иринка. И вправду поздно уже. Что я, дура, на ночь-то глядя! Да с такой вестью! Прости меня, Ир! Но что мне было делать, Иринка? Как тебе не сообщить, правда? Послезавтра похороны. Ну отпроситься тебе, взять билет, собраться... — Голос ее постепенно стихал, тон становился не извинительным — просительным.

Рина по-прежнему молчала, пытаясь переварить услышанное. «Отец. Отец, — стучало у нее голове. — Мой отец. Ничего страшного, просто умер отец. Такая вот неприятность».

Ее отец давно чужой человек. Когда они виделись в последний раз?

— Ир! — Из морока ее вытянул голос отцовской жены. Теперь уже вдовы, извините. — Ты не приедешь, наверное? — почти без надежды, совсем отчаявшись, спросила она.

Рина набрала побольше воздуха:

— Я... я не знаю, если честно. Все как-то неожиданно, внезапно. Да и работа... Мне надо... словом, мне надо подумать. — На этой фразе она споткнулась и замолчала.

Идиотка! Нет, форменная идиотка! «Неожиданно, внезапно». А разве такие известия бывают ожидаемыми? «Работа, мне надо подумать». О господи, что она такое несет?

— Извините, — пробормотала она. — Это я от растерянности. Да, конечно. Я буду. Разумеется, буду, — увереннее повторила она. И, помолчав с минуту, смущенно добавила: — Ну а вы... Вы держитесь.

— Ох, Ира! Какое! Кончилась жизнь, понимаешь? Санечка мой ушел — и все закончилось.

Рина окончательно смутилась, забормотала что-то дежурное:

— Да, я все понимаю. И все-таки. Да, и еще. Адрес. Продиктуйте мне, пожалуйста, адрес! — Она отыскала глазами ручку и, взяв ее, почувствовала, как дрожат руки. Валентина диктовала адрес, а она записывала его на обратной странице глянцевого журнала, сто лет валяющегося на журнальном столе, — единственное, что оказалось под рукой. Ручка скользила по блестящей вощеной бумаге и писала отвратительно, но кое-как Рина справилась. Наконец попрощавшись, положила трубку и, плюхнувшись в кресло, закрыла глаза и почувствовала, как дрожит. Так с ней было всегда — реакция на стресс. Дикая дрожь, озноб. В голове были сплошной бардак и сумбур.

Отец. У нее умер отец. А это значит, все ее детские обиды, переживания и комплексы надо оставить в той, давно прожитой жизни и ехать хоронить отца. Да, на работе завал. Но там по-другому и не бывает — у нее всегда цейтнот, завал и *проблемы*. «У нас проблемы» — каждодневный рефрен ее деятельности.

Такая работа. Ничего, с работой она разберется. В конце концов, у нее целых два зама, получающих ого-го какую зарплату. Правда, все они, прости господи, редкостные бараны. Но уж пару дней как-нибудь.

Мама. Говорить ей? Или сказать, что едет в очередную командировку? К этому маме точно не привыкать — она и не заподозрит никакого подвоха. Или сказать? Ведь Александр Николаевич Корсаков ей просто бывший муж, с которым она развелась двадцать семь лет назад, и вряд ли известие о его смерти ее сильно расстроит. Тем паче

мама так далеко. От всего далеко — от Москвы, от всей этой жизни. От прошлого далеко, от воспоминаний — ту жизнь она предпочла забыть, как не было. И, скорее всего, она права.

И от нее, Рины, она далеко. И не только, надо сказать, в прямом смысле.

Да и вряд ли мама в отличие от злопамятной дочери жалела, что этот «изменник, предатель и негодяй» ушел от нее сто лет назад. Ее нынешняя жизнь была удачной, интересной и пестрой — куда удачнее, чем та! Эта жизнь была именно такой, о которой легкомысленная Шурочка мечтала. Так чего ей расстраиваться? И кстати, в последний раз Шурочка видела бывшего мужа именно тогда, «триста лет тому назад». И с той поры прошла целая жизнь.

«Ладно, подумаю, — решила Рина. — Все-таки мама человек немолодой. Кто его знает... С работой решу утром, а вот билет надо бы заказать сейчас, сегодня».

Она глянула на часы и потянулась за родным мобильным, бросив короткий и неприязненный взгляд на городской. И если честно, черт бы его побрал, этот городской, с его занудной и водевильной трелью, с дешевым и пошлым блеском, дурно сделанным под антиквариат. И почему не отключила его? Тогда бы не было этого звонка. И вообще бы ничего не было — поездки в этот дурацкий город К. Похорон. И главное — встречи с «папиной женой», с Валентиной, черт бы ее побрал. С той, которую Рина считала стервой и разлучницей. Мерзкая баба, которая увела у мамы мужа, а у нее отца. В юности Рина ее ненавидела, в молодости презирала и насмехалась над ней, а в зрелости... А в зрелости просто о ней ни разу не вспомнила — где она, эта нелепая провинциальная тетеха, и где Рина?

«Иришка, Иринка», — усмехнулась Рина.

Ириной ее никто давно никто не называл — ни знакомые, ни родственники, ни подруги. Даже мама, очень возражавшая когда-то против «Рины»: «Какая глупость! У тебя прекрасное имя! Звучное, в меру длинное. Да просто красивое! А тут какой-то обрезок трубы — Рина. Вечно твои дурацкие выдумки, вечно ты всем недовольна и хочешь все изменить всем назло!» Мама поджимала губы и недовольно хмыкала, осуждая строптивую дочь. Кстати, во многом мама бывала права: Ирину-Рину многое не устраивало. И в меру сил, возможностей и способностей она старалась это изменить.

Получалось, правда, не все. Но кое-что получалось.

В шестнадцать лет, аккурат после ухода отца, она переименовала себя — из банальной, как ей казалось, Иры, Иринки, Иришки стала Риной. Имя это казалось ей емким, гордым, коротким и четким. И еще — не банальным. Банальности она презирала. Но главное — оно было жестким. Соответствующим хозяйке. В те годы ей очень хотелось быть жесткой. Что сказать — получилось.

Вдобавок новое имя не подлежало многочисленным трансформациям. Риночка? Да. Ринка? Возможно. Но этим фантазии друзей и близких ограничивались.

Даже в паспорте поменяла — из Ирины Александровны стала Риной Александровной. Отец это не одобрил — нахмурился и пробурчал:

— А что тебе, собственно, не нравилось в твоем имени? Это я тебя назвал в честь своей мамы.

Вот именно — он ее назвал! А он — предатель и изменник. В память о бабушке? Да она и знать не хотела эту бабушку! Эту деревенскую бабушку, мать отца, она и видела-то всего пару раз в жизни! И кстати, сразу невзлюбила. А вот мать ее матери, Мария Константиновна,

была ее настоящей бабушкой. К Мусеньке в Питер, тогда еще Ленинград, Рину отвозили на все длинные праздники и каникулы. С Мусенькой она ходила в музеи и парки, та читала ей книги и учила всяким женским премудростям — как, например, носить шляпку. Хотя какие там шляпки, в Ринино время! Бабушка Маша, ее любимая Мусенька, учила ее красить губы и ногти — образовывала. Например, рассказывала, куда наносить духи, чтобы запах сохранился подольше, — на сгиб локтя и на шею под волосы. Мусенька учила ее правильно есть, сочетать цвета нарядов. Мусенька готовила невероятно вкусные бутерброды с бородинским хлебом, чуть поджаренным на сковородке и украшенным золотистыми шпротами. Мусенька обожала пить кофе в кафе на Невском и покупать пирожные в кондитерской «Север». Вместе они заходили «поболтать» к старинным приятельницам Марии Константиновны — Вере Козловской и Ляле Урбанцевой, таким красоткам и умницам, что Ринино сердце замирало от восторга. Эти пожилые петербурженки были интересными женщинами, да что там — красавицами. А еще — великолепными собеседницами. Рина сидела как мышь, затаившись, почти не дыша, — не дай бог, выгонят или попросят сходить за какой-нибудь ерундой, вроде лимонных вафель или свежей булки. И любовалась ими!

Было им, этим, как ей казалось тогда, пожилым дамам, в те годы всего-то за пятьдесят! Все три были блокадницами.

Поездки в Ленинград — пожалуй, лучшее и самое светлое из детских воспоминаний. Она обожала свою Мусеньку, обожала город и обожала ее подруг со «сложными судьбами». Будучи девочкой, изо всех сил старалась услышать что-нибудь из рассказов об их прежней жизни, уловить и запомнить. Кое-что удавалось, но детский

мозг, пусть хваткий и острый, не мог все сложить и сопоставить — им такое досталось и они такими остались? Непостижимо. Впрочем, у кого из российских женщин судьба была легкая? Тем более у блокадниц и вдов. Рина обожала Ленинград, неспешную в отличие от столичной жизнь, Невский и прилегающие к нему улицы, облупленные дома с глубокими трещинами и отвалившейся штукатуркой, удивительные подъезды с сохранившейся лепниной и роскошными лифтовыми кабинами, витые садовые решетки и перила, камин в комнате Ляли — изразцовый, бело-голубой, «из настоящей голландской плитки», важничала хозяйка.

Рине нравился и уклад их с бабушкой жизни — никаких супов и обедов, никакого дневного сна и вообще никаких обязательств вроде уборки квартиры, мытья посуды, выноса мусора и дневного отдыха с книжкой. Мусенька игнорировала процессы воспитания — обед? Да зачем он нам, если можно пойти на Невский, выпить чаю с пирожным и получить удовольствие? Уборка? Фу, черт с ней! Что важнее — услада души или дурацкая пыль? К тому же дело это неблагодарное, эта уборка. Нет, детка! Мы лучше в кино! К обязанностям, своим и чужим, она относилась с пренебрежением. Не может прийти электрик, водопроводчик, маникюрша или подруга — ерунда. Длинная очередь в поликлинике — ну и что? Все люди болеют, и врачи тоже люди! Портниха не дошила вовремя юбку — пустяки! Жила без нее — проживу и еще пару недель! «Я никогда не обижаюсь, — улыбалась Муся. — Свои дела — они, конечно, важнее. А мы подождем — не пожар».

К посторонним и соседям она была терпима: «Их мнение меня не волнует. А тех, чье волнует, так с ними все в порядке, уверяю тебя!»

Бабушка была беспечной и легкой. «Подумаешь» и «переживем» были ее любимыми словами. Потом Рина поняла: на фоне того, что Мусенька и ее подруги пережили, все действительно выглядело полной чепухой.

При всех аристократических привычках бабушка была крайне неприхотлива — при ее образе жизни, пенсии, понятное дело, хватало на полмесяца, да и то не всегда. «Подумаешь! — хитро улыбалась она. — Как-нибудь проживем, с голоду не помрем! В крайнем случае пойдем по хаткам». «По хаткам» означало случайно заскочить вечером в гости и попасть на ужин. Поначалу Рина приходила в ужас от этого плана. Но все оказалось не так страшно. И Ляля, и Верочка были им искренне рады: «Какая прелесть, что ты, Муся, к нам зашла. Да еще с Ирочкой». И тут же накрывался стол — простой, незатейливый, но очень вкусный. Верочка принималась варить картошку и чистить селедку, а Ляля тут же вставала к плите и «заводила» блины. Это была ее коронка — блины у Ляли получались тонюсенькие, полупрозрачные, кружевные. А дальше — несколько часов разговоров, воспоминаний. Обеим Мусиным подружкам было грустно и одиноко. Правда, одинокой была только Ляля, у Верочки был сын, но, кажется, его сто лет никто, в том числе и мать, не видел — обретался он где-то в Киргизии, служил там врачом в военном госпитале. В Ленинград не приезжал — отпуск проводил на море, с семьей. А деньги, скорее всего, посылал — из трех подруг Верочка была самой «обеспеченной» и «многое себе позволяла». Кое-что из этого «многого» — зимнее пальто, сшитое в закрытом ателье, с воротником из рыжей куницы (куница, споротый воротник, наследство Верочкиной матери, была старше Верочки). Еще Верочка *позволяла себе* купить что-то в кулинарии при гостинице «Астория», например, гусиный

паштет или волованы с красной икрой. Покупала кое-что и у соседки-спекулянтки — например, австрийские сапоги на «натуральной цигее». Именно так говорила Верочка — не цигейка, а цигея.

Ляля была самой бедной. «Пенсия у нее крохотная, — вздыхала бабушка. — У нас-то копейки, а у Ляльки вообще смех».

Потом Рина узнала — замужем Ляля никогда не была. «А как к этому стремилась! — усмехалась бабушка. — Вот дурочка!»

И что забавно — на старости лет у Ляли появился весьма серьезный и солидный ухажер, Иван Матвеевич, бывший военный инженер.

Парочка эта была комичная: крошечная толстушка-колобок Ляля, в смешных шляпках, из-под которых выбивались седые кудряшки, и высоченный, худой полковник. Бабушка называла его «половник».

— Ну, как твой половник? — спрашивала она подругу. — Еще не надругался над тобой, не лишил девичьей чести?

Ляля злилась, краснела как свекла, надувала пухлые губки и на пару минут обижалась на любимую Мусеньку.

Лет в тринадцать, когда Рина была уже вполне образованной, она догадалась, что Ляля была старой девой. А значит, и девственницей.

Ляля и полковник гуляли по воскресеньям в Летнем, по вечерам ходили в театр или в кино.

«Лялька ведет светскую жизнь! Ну, наконец-то!» — говорила бабушка.

Однажды Рина спросила:

— Ба, а чего она замуж за него не выходит? У него же отдельная квартира, а у Ляли соседи-алкаши. Да и вообще — солидный мужчина.

Бабушка на этот раз не отшутилась, ответила серьезно:

— Ну, во-первых, он жлоб, жаден до неприличия, считает не рубль — копейку. Билеты в кино берет самые дешевые. В магазине стоит полчаса перед витриной и выбирает всякую гадость, например, колбасу собачью радость. Ну и потом, он военный, понимаешь? А это означает, что он... — бабушка замолчала, подыскивая слова, — ну... любит дисциплину, даже муштру, чтобы все по расписанию. А Лялька человек одинокий, всю жизнь жила для себя и ни от кого не зависела. Да и привыкать в этом возрасте трудно. Да невозможно, я так считаю! — Мусенька гневно повысила голос: — Да и вообще, на черта он ей? Носки стирать, борщи варить и слушать команду «равняйсь»? А через пару лет, не дай бог, судно за ним выносить? Нет, Лялька все правильно делает! Не поддается на уговоры. Хоть здесь она молодец.

— А если за ней надо будет судно выносить? — осторожно спросила Рина. — Так он тоже, наверное...

Бабушка рассмеялась:

— Дурочка ты! Ну где ты видела, что бы они, мужики, судна выносили? Сбежит в тот же день, ты мне поверь!

Говорила она это со знанием дела, печальный опыт был. Мусенькин муж сбежал к «профурсетке-акробатке» из провинциального цирка, когда их общей дочери было два года.

Первой умерла Верочка, от инфаркта. Совсем нестарая, ей только исполнилось семьдесят. Бабушка ушла следом, через семь лет.

А Ляля жила еще долгих пятнадцать лет. Рина посылала ей деньги и в конце концов устроила ее в хороший интернат, который она же, естественно, и оплачивала.

К Рининому отцу Мусенька относилась терпимо и, скорее всего, снисходительно. Понимала, что человек

он приличный. Но понимала и другое — он, этот приличный человек, и ее легкомысленная дочь — не пара. Совершенно не пара.

Когда Ринины родители развелись, не горевала и не сетовала, сказала, что это к лучшему. На удивленный внучкин вопрос почему, спокойно ответила:

— А разные они люди, Ира. Слишком разные. Ну никаких точек соприкосновения, ни одной, понимаешь? Ну кроме тебя, — быстро поправилась она.

Александра — человек легкий, беспечный, порхает, как бабочка. Как та Стрекоза из басни. И так будет всю жизнь, ты мне поверь. А твой отец... — Бабушка помолчала. — Он из тех, кто вечно страдает и вечно бьется над загадкой несовершенства мира. Главное, что его мучает, — мировая несправедливость. А о чем это говорит, детка?

Рина задумалась, но бабушка не дождалась ее ответа:

— Это говорит, детка, — с пафосом повторила она, — что отец твой несостоявшийся ре-во-лю-ци-о-нэр! — Бабушка махнула рукой. — Да что там, ты все понимаешь! Вечный страдалец, вот кто твой отец. А Шурочка — одуванчик. Ей не интересно ничего, кроме удовольствий. И она умеет получать эти удовольствия, как ты знаешь, даже от плитки шоколада или от нового шарфика. Ей все легко и просто, жизнь для нее — радость! И она уверена, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя огорчаться. Это вредит здоровью. А отец твой хочет, чтобы она страдала вместе с ним, понимаешь? А она, Шурка, страдать не умеет. Ну не дано ей — и все. Хорошо это или плохо — не знаю. Словом, они такие разные, что друг друга не понимают и, главное, не поймут никогда. Он морщится от ее легкомысленности, а ее корежит от его вечных душевных мук. А это беда, Ириша. Это большая беда. И такая совместная жизнь точно мука. Так

что расстаться — это правильно. В конце концов, они еще молодые, найдут себе спутников и проживут долго и счастливо, с теми, кто им подходит и их понимает.

— А как же я? — тихо спросила Рина. — Меня тут вообще нет, в этой сложной конструкции?

— Господи! — засмеялась бабушка. — Да что ты? Ты давно не ребенок, а взрослая девица, через два года можешь замуж сходить!

Как бабушка была права: и матери, и отцу после развода стало легче и проще. Ринина мать, легкомысленная Шурочка, пообижалась чуть больше месяца: «Ах, такой-сякой, бросил меня, умницу и красавицу», — а потом быстро выдохнула, освободилась, повеселела, еще больше помолодела и расцвела. А через пару лет и вовсе вышла замуж и укатила в Норвегию.

Отец к тому времени уже жил в деревне.

А Рина и вправду сходила замуж — аккурат на первом курсе. И здесь бабушка оказалась права. И кстати, формулировка ее оказалась очень точной — «сходить замуж». Сходила. Правда, неудачно сходила.

Ко второй бабушке, Ирине Ивановне, в честь которой Рина была названа, она попала впервые года в четыре. Бабушка Ира жила в деревне за Россошью. Называлась она Крокодиново. Конечно же, Рина тут же окрестила ее Крокодилово.

Деревня была живописная, красивая и, видимо, когда-то небедная. Но теперь молодежь тяжелым сельским трудом заниматься не желала и бежала в города. При этих разговорах отец хмурил брови, а мама посмеивалась: «А что же ты, крестьянин? Других осуждаешь, а сам убежал!» Отец еще больше хмурился и всерьез обижался.

Легкомысленная Шурочка полдня проводила на речке. «Я на пляж!» — утром радостно объявляла она. Рина

видела, как недовольно хмурилась бабушка Ирина Ивановна. Кстати, Рина почему-то так и звала ее — Ирина Ивановна. Бабушка обижалась, но еще больше обижался отец: «Какая она тебе Ирина Ивановна? Зови ее бабушкой!» Пару раз получалось — Рина была послушным ребенком, — а потом снова переходила на имя и отчество. Получалось это само собой, машинально.

Кстати, и Шурочка звала свекровь по имени-отчеству. А на просьбу мужа называть ее мамой возмутилась: «Какая она мне мама, господь с тобой! Мама у меня одна, и живет она в Ленинграде!» Сказала, как припечатала. И к этому разговору никто больше не возвращался.

Даже будучи совсем ребенком, Рина понимала, что Ирина Ивановна невестку не любит — ни тебе объятий при встрече, ни пусть дежурного поцелуя при расставании.

Шурочка всегда привозила свекрови подарки — то духи, то платок. Но Ирина Ивановна всем была недовольна. «Одеколон? — презрительно усмехалась она, вертя в руке флакончик духов. — А на кой он мне, этот твой одеколон? Куда мне им мазаться?» Платок ей тоже не нравился: «Пестрый какой. Я давно не девочка».

Теплая кофта оказывалась велика или мала, туфли жали, панталоны были жаркими или «электрическими» — аж искры летят! Мама обижалась, но вида не подавала — такой характер.

А однажды все же не выдержала: «Да вам не угодишь! Ну как хотите. Могу соседкам раздать. Уж они-то наверняка будут рады!» Но подарки Ирина Ивановна не возвращала — быстренько прибирала и уносила к себе в шифоньер.

Правда, готовила она отлично. Ах, какие у нее были пирожки — с капустой, повидлом, картошкой и гриба-

ми. Вкуснотища! Курицу сама рубила и варила из нее бульон — янтарный, прозрачный и невозможно ароматный! К куриному супу ловко тянула домашнюю лапшу. И вареники с вишней выходили у нее замечательными, и варенья, и компоты, и соленые грибы.

Шурочка никогда и ни в чем Ирине Ивановне не помогала и на недовольство мужа отвечала: «Я в отпуске! Имею я право хотя бы две недели в году? И кстати, сюда мы приезжаем раз в два года. Или даже в три. И что мне, вставать к печи? Идти пасти коз? Или в поле, за навозом? И маме твоей, кстати, это должно быть в радость, а не в тягость — ухаживать за детьми! Разве нет?» После такой бурной тирады отец замолкал, махал рукой — дескать, что с тебя взять?

Рине в деревне Крокодиново решительно не нравилось. Или так — нравилось первые три-четыре дня. За грибами ходить нравилось. Купаться на речке тоже. Валяться на сеновале — неплохо. Есть бабушкины пирожки — даже очень хорошо. А все остальное — нет. И особенно сама бабушка Ирина Ивановна. Была она строгой, неприветливой и, кажется, не очень доброй.

Рина вспоминала Ленинград и любимую Мусеньку. Нет, никакого сравнения — и рядом поставить нельзя ее родную, любимую, веселую, легкую на подъем Мусеньку, вечную выдумщицу и путешественницу, и эту хмурую, молчаливую, смотрящую из-под бровей, вечно чем-то недовольную женщину. Абсолютно чужую, как ни крути.

Отец по матери и по деревне скучал, а вот длинных и задушевных разговоров с Ириной Ивановной у них не было — и мать, и сын были не из разговорчивых. А может, просто не получалось? Бабушка Ирина Ивановна вдовела. Обмолвилась об этом однажды между делом:

— Был муж, а как же? Но пропал. Пошел по осени на болото за утками и пропал. Затянуло, наверное. Молодой, сорока еще не было. Жаль, конечно. Хороший был человек, не алкаш и трудяга. Отец твой вылитый он. Но свое я отплакала. Не до слез было, сына надо было растить, да и хозяйство рук требовало.

По приезде отец сразу принимался за дело — латал крышу, поднимал стену сарая, чинил птичник. Договаривался о дровах и сене на зиму, оплачивал все это. Перед отъездом отправлялся в город и возвращался оттуда на такси — привозил мешки с крупами, банки с консервами, стиральный порошок, упаковки хозяйственного мыла, рулоны марли и большущий пакет с лекарствами.

Бабушка Ирина Ивановна любила лечиться. По вечерам, надев на нос очки, сидела за столом и раскладывала, перекладывала, надписывала коробочки с лекарствами — вертела в руках и почему-то тяжело вздыхала. На подоконниках у нее стояли банки с вонючими травами, повязанные темной, дурно пахнувшей марлей. Фельдшер Лида приходила два раза в неделю — померить давление и послушать «больную».

— Все хорошо, теть Ир, — устало говорила она. — Живите дальше.

Ирина Ивановна недоверчиво ворчала:

— Как же, дальше! Сколько там этого «дальше»?

— А вот этого не знает никто, — смеялась Лида. — Сколько отпущено!

Ирина Ивановна отмахивалась:

— Иди уж! Специалистка!

Еще Рина помнила высокую кровать с пышными подушками, залезать на которую ей категорически не разрешалось. «Приличные дети на кровати не прыгают», — строго говорила бабушка Ирина Ивановна.

Мама все время фыркала и стреляла глазами на папу, но папа взгляд отводил — матери своей он не перечил и в спор с ней не вступал, в деревне это не принято.

Родители в деревне часто ссорились — это тоже запомнилось. Впрочем, ссорились они всегда... Почти всегда, если честно.

Отец рвался на родину каждый год: «Только там я дышу полной грудью!» Мама иронично усмехалась: «Ну дыши, дыши! Что там еще делать?» Но каждый год ездить не получалось — Шурочка умела отстаивать свои права.

Конечно, позже Рина догадалась, что Ирина Ивановна выбором сына была недовольна — какое там! Столичная фифа, не приспособленная к труду. Легкомысленная, ветреная — все разговоры о тряпках и развлечениях. Никакой помощи от нее — ну разве так можно? Ладно, в огороде и в хлеву ей не место, это понятно. Но помочь с обедом и убрать со стола посуду? Красивая, что говорить. Но не жена. Не о такой снохе она мечтала. Да и Сашка парень серьезный, непьющий. Сам в институт поступил — да где, в столице! Золотой парень, таких сейчас нет. А вот такая жена. Да уж, хорошим парням всегда не везет — закон жизни, увы.

Рина отлично помнила лето, когда бабушка Муся попала в больницу. Путевку в лагерь было не достать, и пришлось ехать в Крокодиново. Уже взрослая, одиннадцатилетняя, Рина долго сопротивлялась, канючила и ныла, что не поедет в деревню, делать ей там нечего — коровам хвосты крутить?

Отец злобно зыркнул на мать:

— Твоя школа, узнаешь?

Та равнодушно пожала плечами:

— Подумаешь!

Но отец был непоколебим:

— Ты уже здоровая девица и изволь ехать и помогать бабушке. Точка. Ты моя дочь или нет?

Делать было нечего. Утешало одно — мама обещала, что через месяц они ее заберут и точно отправят в лагерь.

С местными Рина не подружилась — вечно орущие, грязные, матерящиеся и обсуждающие одно — пьянку родителей. Это было дико и непонятно.

Лена, соседская девочка, ее ровесница, поначалу набивалась в подружки. Была эта Лена хмурой, завистливой и вечно всем недовольной. Лена тоже жила с бабкой — так она ее называла — и ненавидела родителей, уехавших в город на заработки. Не могла им простить, что не взяли ее с собой. Бабку она называла и дурой, и сукой. Слушать это было невыносимо.

А однажды пропала Ринина заколка для волос — красивая французская заколка, подаренная на день рождения. Было сразу понятно, чьих рук это дело. Но объявить об этом Лене было неловко. Сказала бабушке Ирине Ивановне.

Та со вздохом ответила:

— Да прости ты ее, Ира! Несчастная она девка. Бабка поддает, родителям она не нужна — забыли, как не было. Что она видела в жизни? А что увидит? Может, хоть цацка твоя ее порадует.

— Как же так? — задохнулась от возмущения Рина. — Ведь это воровство!

— Воровство. Только знаешь, что ее ждет, Ленку эту? А я тебе скажу. Дояркой пойдет, в совхоз. А куда еще? Учиться не поедет — мозгов не хватит, да и ленивая она. Будет в коровнике ломаться, а к сорока годам инвалидом станет. Повезет — выйдет замуж. За Фильку или за Петь-

ку. Родит ему парочку деток. И с ним тоже все ясно — запьет. Конечно, запьет, куда денется! Ну так и будет — тяжелая работа, брошенные дети, хозяйство и пьющий муж, и еще, сволочь, будет колотить ее. Вот и думай, девка. Ну что? Все еще жалко твою заколку?

Рина ничего не ответила — она не ожидала такой проповеди, не все поняла, но о справедливом возмездии больше не мечтала.

«Месяц, всего лишь месяц», — как заведенная твердила она и думала о Ленинграде. Но и этот месяц был невыносимым. Ирина Ивановна была ею недовольна: «Посуду моешь не так, дай покажу!» Но хозяйственное мыло так невозможно воняло! «Стираешь не так — три сильнее!» И снова невыносимое хозяйственное мыло — стиральный порошок бабушка экономила. «Картошку чистишь слишком смело. Ишь ты! Полкартофелины в помойку. Так-то я до зимы не дотяну! Подметаешь плохо, углы не метены! Лентяйка ты, неумеха!»

Однажды Рина не выдержала и разрыдалась — так все достало, так припекло. В эти минуты она эту Ирину Ивановну ненавидела.

Но, как ни странно, бабушка испугалась, оторопела и запричитала:

— Ирочка, Ира! Ты что, деточка? Обиделась, что ли? Да ты не сердись на меня, старую, я ведь как лучше хочу! Научить тебя хочу, чтобы хозяйка была, а не... — Бабушка Ирина Ивановна запнулась. — Да, научить! И убираться, и стирать, и готовить. Плохая-то жена никому не нужна. Ленивая баба — не баба, а... — Ирина Ивановна запнулась. — Ну ты и сама знаешь! И чтоб народ над тобой не смеялся, и чтоб муж был доволен, чтоб гордился тобой. Ты ж большая девка уже, а ни к чему не приучена. Вон картошку и ту почистить не можешь. Стыд, а не картош-

ка! Увидел бы кто! А я в твои годы... — Но договорить не успела, Рина вдруг закричала:

— Да мне наплевать на картошку и на соседей. В городе соседи не проверяют, кто и как чистит картошку! И как подметает тоже! И вообще у нас пылесос! И стирает стиралка, а не корыто! Со стиральным, кстати, порошком! А не с вашим вонючим хозяйственным мылом! Меня от него тошнит, понимаете? И готовить я научусь, когда время придет! А может, и не научусь, наплевать! Моя бабушка Маша щи не варит, а счастлива! По улицам гуляет, в музеи ходит, в кафе. С подружками встречается! А вы? То в хлеву, то у печи, то в огороде. В резиновых сапогах и в ватнике — а что, красота! Вот жизнь, правда? — Она готова была и дальше выкрикивать все, что наболело, но осеклась и замолчала, увидев, что бабушка Ирина Ивановна плачет. Молча плачет, ни слова в ответ. Вытирает лицо грубыми шершавыми ладонями и молчит. Потом всхлипнула:

— Это ж деревня, Ира. Здесь по-другому нельзя — пропадешь.

И Рине стало невыносимо стыдно. Чуть сама не разревелась от стыда и жалости. Но подойти к бабушке и обнять ее не смогла. Не решилась. Просто проскочила мимо и прыснула во двор. А вечером между делом, так, походя, тихо и невнятно пробормотала короткое «извините».

Через пару дней за ней приехал отец. «Срок заключения», слава богу, закончился. Страшно смущаясь, она на прощание клюнула бабушку в щеку. Та на секунду прижала ее к себе и отпустила.

Больше Рина бабушку Ирину Ивановну не видела — та через год умерла. И если по правде, узнав о ее смерти, Рина испытала не только жалость и стыд за прошлое, но

еще и облегчение — поездки в ненавистное Крокодилово, слава богу, закончились.

Когда родители развелись, Рина подумала, что кто был бы счастлив — это бабушка Ирина Ивановна: «Наконец-то избавились от этой фифы!» Но Ирины Ивановны уже не было.

Рина сидела на низеньком пуфике у журнального столика и вспоминала.

«Ириша, Ирочка». Господи! Да ее сто лет так никто не называл. И если бы ее так окликнули на улице, она наверняка бы не обернулась. Правда, отец упрямо называл ее Ирой. Когда был чем-то недоволен — Ириной. А если уж умилялся, то Иркой. С ним она не спорила. Во-первых, понимала, что не убедит, а во-вторых... Во-вторых, она вообще с ним не спорила. Да и общение их, по правде говоря, после развода было формальным и довольно редким — отец навсегда уехал в деревню.

Рина помнила, что даже не сам развод родителей ее так потряс — а именно то, что отец оставил столицу и уехал в эту глушь. В дикую провинцию, черт-те сколько километров от Москвы. Нет, Рина там не была — еще чего, много чести! Хотя ее, разумеется, приглашали. Ехать за пятьсот верст, к черту на кулички, к чужой тетке?

Отец ушел, когда Рины в квартире не было. С Шурочкой они, «как цивилизованные люди», разумеется, все решили заранее. А объясниться с пятнадцатилетней дочерью отец решил на нейтральной территории. Так ему было легче — присутствие знакомых и родных предметов и привычный интерьер их общей квартиры, наверное, наводили тоску и вызывали воспоминания.

Был канун Нового года, страна готовилась к праздникам. Народ мотался по заснеженной Москве, бестолково

толкался в очередях, хватал с прилавков все, что случайно попадалось, отстаивал дикие, нескончаемые очереди, транспорт ходил плохо — декабрь выдался холодным, метельным. Да и в квартирах было прохладно — топили в тот год отвратно, все болели, шмыгали носами и кашляли, но праздничного настроения все это не отменяло. Новый год по-прежнему оставался любимым народным праздником.

Конечно, Рина понимала, что в их доме не все хорошо. Родители по-прежнему ссорились, подолгу не разговаривали друг с другом, да и семейных посиделок, с гостями или просто втроем, давно не случалось. Как любой подросток, она старалась поскорее смотаться из дома, убежать в свою жизнь, заняться собственными проблемами и просто не замечать ситуацию — так было проще. Да и душевные разговоры, если честно, в их семье были не приняты. К тому же ее вполне устраивало, что родители, занятые своими делами и разборками, не лезут в ее личную жизнь, не контролируют ее, не интересуются ее успехами в учебе, в общем, не мешают. Вот и славно!

У любимой подружки Таньки предки развелись пару лет назад. Рина помнила, как Танька переживала, хотя всеми силами старалась это скрывать. Но потом все как-то образовалось — Танькина мать вышла замуж, а отец жил в гражданском браке с какой-то теткой, Танька говорила, что невредной и к тому же разъезжающей по заграницам, откуда и Таньке привозились подарки — и тряпки, и обувь, и косметика. Кстати, заколка, украденная деревенской соседкой, была оттуда же, от Танькиной мачехи. Танькина мать с головой ушла в новую семью, родила сына и тоже в жизнь дочери не лезла — не до того. В общем, Танька говорила, что от развода родителей только выиграла — мозг никто не выедает, настро-

ение у всех замечательное, и все чувствуют свою вину — ребенку нанесена психологическая травма. Короче, ура.

Но Танька развод уже пережила, а Рине все только предстояло.

Так вот, в тот год в их доме приближения праздника не наблюдалось — за дефицитом мама не бегала, зеленый горошек, майонез и маринованные огурцы в стенку не прятала, рецептами новых салатов с подружками не обменивалась, покупкой подарков, кажется, не озадачивалась и не составляла список гостей. Не было в квартире ни елки, ни развешанных по стене серебристых гирлянд и колокольчиков. Квартиру к празднику мама не убирала, парадный сервиз и рюмки не перемывала и не протирала до зеркального блеска. В воздухе, как пар от кастрюль, висели тоска, заброшенность и какая-то неприкаянность, сиротство.

Несмотря на все это, Рина приготовила родителям подарочки. Маме — югославскую помаду, а папе — эластичные плавки пронзительного красного цвета с белой полосой. Он был заядлым пловцом.

А что праздника не предвиделось — так и бог с ним, решила Рина. Будет легче свалить из дома в компанию. А компания предполагалась — у одноклассника Димки Скворцова родители отвалили в Прибалтику.

Тридцатого, а это была пятница, вернувшаяся с гулянки Рина застала мать, сидящую на кухне за чашкой остывшего чая. В темноте. Сердце дрогнуло и, казалось, остановилось.

— Мам! — хрипло позвала она, замерев на пороге кухни. — Мам, что-то случилось?

Мать ответила не сразу, странным, не своим голосом, словно пребывая в каком-то полусне, протянула:

— А, это ты... — Помолчав, Шурочка добавила: — Вот и все, Ирка. Все закончилось. В смысле наша с твоим отцом семейная жизнь. Что ж, протянули мы довольно долго, пятнадцать лет. А это срок за убийство! — хрипло хихикнула она. С юмором, надо сказать, у матери было всегда хорошо. — Впрочем, все это предполагалось. С самого начала, если по-честному. Но все будет хорошо! Да и вообще — ничего страшного. — Она потянулась за сигаретой и неуверенно проговорила: — Все, все, Ир, расслабься! Все будет хорошо! Или ты сомневаешься?

Не зажигая верхнего света, Рина села напротив. В кухне было довольно светло — свет шел с улицы, от высоких, недавно наметенных сугробов, от фар проезжающих машин, от поскрипывающего фонаря. Мама была печальной и бледной. Рина увидела, как она осунулась, постарела, и с удивлением разглядывала ее — как, оказывается, давно она не смотрела на мать внимательно.

— Ладно! — Шурочка хлопнула ладонью по столу. — Хватит кукситься! В конце концов, Новый год у дверей! Что мы с тобой сидим тут, как две старые клуши! Мы ведь красавицы, Ирка!

Рина молчала. Значит, все. Они разошлись. Ничего страшного, мама права. Сплошь и рядом такие истории. Но...

Пока это не касалось ее, Рины. Ее мамы. Ее отца. Ну и вообще их семью.

— Он ушел от нас? — тихо спросила Рина.

— Ушел, — будничным голосом ответила Шурочка. — Он давно ушел, Ирка. Почти год назад. Уверена, у него появилась другая баба — по-другому никак.

И Рина заплакала. Другая женщина? Не может быть! После красавицы Шурочки? Потом, конечно, все подтвердилось — *та* женщина у отца появилась давно. Года

два назад. *Подцепил* он ее — мамино слово — в санатории. «Помнишь, ездил туда со своей язвой? Ничего про нее не знаю и знать не хочу. Знаю, что его ровесница, разведена и бездетна. Работает, кажется, сестрой-хозяйкой в этом чертовом санатории. Ни имени, ни фамилии, как понимаешь... Ушлая наверняка — увела из семьи хорошего мужика, да еще с московской пропиской. Ну и вообще — не она, так другая! Мы же давно с ним... Ну, как соседи, понимаешь? Понимания давно не было. Да и было ли вообще? А черт его знает. Любовь — да, была. Но когда? В глубокой молодости. Мы были совсем детьми, неразумными и неопытными детьми. Что мы вообще тогда понимали? А уж в семейной жизни мы были полными профанами, идиотами даже. Студенческий брак — есть такое понятие. Ну а потом появилась ты. Если бы не ребенок, еще бы тогда разбежались! Ну в общем, как есть, так и есть, и это надо принять».

Принять... Как будто у Рины были другие варианты!

Кстати, потом она поняла, что такое студенческий брак, и, вспомнив Шурочкины слова, похолодела: получается, если бы у них с Вадиком был ребенок, они бы тоже жили и мучились? Какой кошмар... В ту ночь, уткнувшись носом в подушку, она горько плакала и заснула только под утро. Счастье, что в школу идти было не нужно — каникулы. А днем позвонил отец и сказал, что им надо встретиться. Зачем? Поговорить. Цивилизованные люди разговаривают при любой ситуации.

— Значит, я нецивилизованная! — закричала Рина. — И встречаться с тобой не хочу! Катись туда, в свою вонючую деревню! И встречайся там со своей новой женой! И жри там ее оливье и пляши под елочкой! С праздником тебя, дорогой папа! С наилучшими пожеланиями! — С силой и яростью швырнула об стену телефонный аппарат.

Нате вам всем! Хрупкая красная пластмасса разбилась вдребезги. Ну и черт с ней – жизнь разбилась, что там телефон.

Отец не перезвонил. Да и слава богу, что не услышал того, что кричала его дочь в пустой квартире, самой себе, ну и, конечно, ему.

Зато позвонила Танька и, поняв сквозь рыдания подруги, что случилось, убежденно сказала:

– Ну и черт с ними! Живут своей жизнью, и на нас им наплевать! А значит, и нам на них! – И Танька матерно выругалась.

Странно, но эти слова Рину отрезвили и успокоили. И вправду, наплевать. И она позвала Таньку в гости. Та пришла с бутылкой коньяка, вынесенной из родительского бара.

В тот день Рина впервые напилась. Ну и подружка не отстала – вспоминать неохота. Еще лет десять Рина не брала в рот спиртного. Потом, конечно, забылось.

Тридцать первого она валялась в постели, невыносимо тошнило, кружилась голова, и вообще было плохо и мерзко. Ни в какую компанию она не пошла, хотя все звонили и уговаривали. А вот Шурочка ускакала, и правильно сделала, кстати.

Утром первого Рина подошла к окну – было так бело, снежно и красиво, что заныло сердце.

«Жизнь продолжается, – подумала она. – И она у меня впереди, такая длинная и прекрасная. Уж я распоряжусь ею не так, как вы! И ребенку своему *такого* уж точно не устрою. Я не такая эгоистка, как вы!»

Впрочем, с ребенком у нее не случилось. А жизнь действительно оказалась длинной и даже местами прекрасной.

Отец объявился спустя пару месяцев, в марте. Она хорошо запомнила, как ее заколотило, когда она, спустя столько времени, услышала знакомый голос.

Говорить Рина не могла — слова застревали в горле, першило и саднило, как при ангине.

— Иринка! — удивленно повторил отец. — Ты меня слышишь?

— Слышу, — просипела она.

— Ну так что? Встретимся сегодня на Ленинских, а?

Ленинские... Ленинские горы было их местом.

Зимой в далеком и безоблачном детстве они ездили туда кататься на санках. Отец тащил санки, и Рина видела его сутулую спину в темно-синей болоньевой куртке и слышала тяжелое дыхание. Она же, как королевишна, развалясь, разглядывала окрестности — высоченный серый шпиль здания университета, маленькую желтую церквушку с ярко-зеленой крышей на краю обрыва. Храм Живоначальной Троицы, объяснял ей отец. Сквер, разрезающий улицу четко посередине, и голые черные деревья, присыпанные свежим, белейшим снежком. Запыхавшись, отец останавливался и поворачивался к ней.

— Ну ты и коровушка, Ирка! С прошлой зимы ого-го! Или я постарел? — задумчиво и грустно добавлял уставший отец. — Давай, давай, ножками! Ишь, расселась, барыня!

«Ножками» не хотелось. Неудобные жесткие черные валенки с блестящими калошами раздражали — нога в них была как будто зажата в тиски. Да и вообще — «ножками, ножками»! Зачем? Когда есть прекрасное средство передвижения — санки и папа! Санки были с жесткой, но все же вполне удобной спинкой, с цветными деревянными рейками — красная, зеленая, желтая. И, чтобы «было удобно попе», папа подкладывал перед прогулкой под эту самую попу вязаную попонку. «Попа — попонка», — смеялась она. Значит, пестрый вязаный коврик предназначался именно для этой самой попы?

Интересно было все — ехать в метро с новыми санками и гордиться ими. Ехать в метро с папой — высоким, красивым, сероглазым и кудрявым — и ух как гордиться им! И знать, что в кармане у папы лежат два здоровенных бутерброда с колбасой — на перекус, как он говорил.

А если повезет и папа будет в хорошем настроении, то Рине обязательно перепадет теплый бублик, а возможно, и пирожок с мясом. «С котятами», — говорил папа, и она обещала ему ничего не рассказывать маме — за пирожки им обоим здорово попадет. Пирожки были влажные, остывшие, мятые и невозможно вкусные.

Позже, когда Рина подросла, саночные вылазки на Ленгоры заменили вылазки лыжные, и это было еще интереснее. Раскрасневшиеся, запыхавшиеся, вспотевшие и очень счастливые, отстояв огромную очередь в киоск, они пили горячий и очень сладкий кофе и ели бутерброды с подсохшим сыром. Хлеб был, как правило, черствым и жестким от мороза, ломкий, безвкусный сыр крошился на красную Ринину куртку, ноги и руки замерзали и не разгибались, невзирая на толстые шерстяные носки и варежки. Но она запомнила на всю жизнь острое ощущение невозможного, непомерного счастья и почему-то такой же острой и отчаянной грусти.

Эта грусть и отчаяние подступали и осенью, когда они приезжали на Ленгоры посмотреть «на расчудесную золотую московскую осень» — по папиным же словам.

И вся Москва лежала как на ладони — ох, красота!

Клены, ясени, липы — все было пестрым, желто-зелено-красным, местами оранжевым и даже бордовым. Нарядным, но уже и печальным. «Такое уж время года наша московская прекрасная осень, — печально говорил отец. — А красота и грусть, Ирка, неразделимы».

Они садились на лавочку, которую предусмотрительный папа предварительно протирал носовым платком. Они молчали или разговаривали, снова молчали, думая каждый о своем, но молчание это не было ни тягостным и ни тоскливым — оно было привычным, нормальным и понятным обоим. Отец был хорошим спутником — тактичным и все понимающим. Как хорошо им было вдвоем.

Папа... Когда-нибудь он состарится, станет немощным, как все старики, сгорбится еще больше — он и сейчас сутулый, — возьмет в руки палку и будет шаркать по асфальту ногами, как шаркают все пожилые люди. Будет неаккуратно есть суп, обязательно проливая его на рубашку и стол. И хлебные крошки станут разбухать в этих лужицах и превращаться в неприятную кашу. Господи, неужели все это будет и с ним — с моим сильным, красивым и таким молодым папой? Невозможно поверить!

Да нет, будет. Конечно, будет! И никого не обойдет — это Рина уже девочкой понимала. На улице она смотрела на стариков — сгорбленных, шаркающих, подслеповатых и жалких, — и почему-то казалось, что они все одиноки. И сердце сжимала тоска. «Папа, папочка, — шептала она про себя, — уж я тебя точно никогда не брошу и не оставлю!»

Отец обожал пошутить на эту тему: «Эх, скоро вырастешь, дочь, и бросишь своего старого, больного отца, променяешь его на какого-нибудь болвана, прости господи, с немытыми патлами и гитарой наперевес. И все, кончилась жизнь!» В каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

Но не она бросила своего отца — он бросил ее.

— На Ленгорах? — наконец выдавила она. — Нет. Вот там точно не надо.

Договорились встретиться у метро «Университет»: «Через час – ну если ты, конечно, свободна!»

Рина была не свободна – как раз через час у нее была встреча с подружкой. Но какая подружка! Подружку она отменила, потому что поняла – по отцу соскучилась страшно.

Как она наряжалась на эту встречу! Дура, конечно. Но надела новые сапоги и новый свитер. Подкрасила ресницы, что делала крайне редко. Надушилась маминими французскими духами, что делать категорически запрещалось. Приехала на двадцать минут раньше и спряталась за колонной. Сердце билось, как на первом свидании. И тут она увидела отца. Он тоже пришел пораньше – сутуловатый – всегда немного стеснялся своего высокого роста, – в надвинутой по самые глаза серой кепочке-букле, модной в те годы, в знакомой синей куртке. Он оглянулся и прикурил сигарету.

А Рина позорно думала, как бы сбежать. Потому что видеть его, говорить с ним, смотреть ему в глаза невозможно – больно. Так больно, что слезы брызнули из глаз. Она уже приготовилась к побегу, но что-то ее не пустило. «Что я трушу, чего я боюсь? – спросила она себя. – Да пусть он боится! Пусть думает, как ему выкрутиться. А я посмотрю и посмеюсь». И она решительно шагнула навстречу.

Увидев Рину, отец растерянно и жалко улыбнулся, обрадованно закивал и протянул к ней руки, как будто хотел взять ее на руки, словно маленького ребенка. Так они и замерли друг напротив друга – не решаясь ни обняться, ни сблизиться.

Смущенно разглядывая ее, отец восторженно сказал:

– Ты у меня красавица, Ир. Всего несколько месяцев тебя не видел. А как ты похорошела! Ну, куда пойдем,

дочь? — делано радостно спросил он. — В кино я тебя не приглашаю, наверняка есть компаньоны получше. А вот в ресторан — да! Если ты, конечно, не против, — смущенно добавил он.

Рина кивнула — не против.

В ресторане пахло духами и пригоревшим мясом. Но скатерти были кипенно-белые, накрахмаленные. И приборы тяжелые, с вензелями.

Она почувствовала, как хочет есть. Было у нее такое свойство — заедать свои горести. Ничего хорошего, конечно, но как уж есть. Ну и заказала, не стесняясь, и салат, и борщ с пампушками, и цыпленка табака. И морс клюквенный, и эклер на десерт — оторвалась. А кого стесняться? Отца?

Он, кажется, успокоился и тихо посмеивался — хороший аппетит, а значит, хорошее здоровье! А об остальном он старался не думать — так было легче.

Расспрашивал Рину о школе, о подружках, о планах «на светлое будущее». Отвечала она коротко и скупо — все хорошо, в школе нормально, подружки на месте. А что до будущего — так время еще есть, размышляет. В общем, говорили о ерунде, как случайно встретившиеся знакомые.

— Ну а как у тебя? — спросила она, откинувшись на бархатную спинку стула, в упор глядя на отца.

Он стушевался под ее взглядом, отложил нож и вилку и тоже откинулся назад.

— У меня все нормально, дочь. И даже хорошо. Я счастлив, Ира. Несмотря ни на что.

— «Ни на что» — это ты о чем? — нагло глядя ему в глаза, уточнила Рина. — В дыре жить надоело?

— Нет. Совсем даже нет. К тому же это вовсе не дыра, как ты изволила выразиться, а очень милое и симпатич-

ное место. Живописная деревня, среднерусская полоса. Рядом поселок и городок, тихий, зеленый, уютный. И народ там спокойный, не то что ваши москвичи, — улыбнулся отец.

Рина фыркнула — москвичи ему не по нраву.

Бабушка Маша была права — деревенский житель навсегда останется врагом горожанину.

— И суеты никакой, — продолжал отец, — птички поют по утрам. А воздух! Не воздух — нектар. Жизнь другая, спокойная жизнь — во всем другая, понимаешь? Нет, непростая, конечно, напротив, но — другая. И она мне пришлась по душе. Невзирая на мелкие неудобства, отсутствие центрального отопления и теплого сортира. Определенно есть то, что все оправдывает, ты меня понимаешь?

Рина с нескрываемым удивлением покачала головой:

— Не-а, не понимаю, прости. Причем — совсем. И мне это дико, если по-честному.

Ему так нравится провинциальная жизнь? Ему, давно столичному жителю? Имевшему, между прочим, квартиру, работу в приличном институте. Ему нравится жить с сортиром на улице и топить дом дровами? Ну уж нет, позвольте вам не поверить! Никак не складывается, извините. Или такая, пардон, вас посетила неземная любовь? На вашем горизонте образовалась такая красавица? Ради которой, собственно, и были поломаны копья? Ради которой вы оставили столицу и все остальное? И так, на всякий случай, единственную дочь? Да и жена ваша прежняя — тоже пардон — не из последних, как говорится. Любимая вами когда-то красавица Шурочка. Сколько кавалеров было у Шурочки! А выбрала она вас, деревенского парня. Умница, красавица Александра — на улице оборачиваются. У нее, у нашей Шурочки, идеальная точеная фигура, тонкая девичья талия, стройные ножки. Говорят, что

она похожа на Брижит Бардо. И Рина старается у матери многое перенять — например походку. Или полуулыбку-полуусмешку в самом уголке рта. И строгий прищур черных, как южная ночь, глаз — такой прищур, ух! Даже голос повышать не требуется — все и так столбенеют.

А вот вы довольны и очень счастливы в какой-то глуши, за пятьсот верст от Москвы, где случаются перебои с хлебом? Вы счастливы с какой-то провинциальной и некрасивой бабенкой — в последнем Рина почему-то была уверена. И это после мамы, после Шурочки, вашей бывшей жены? В чем ты пытаешься меня, отец, убедить? Что ты все сделал правильно? Что твой странный выбор — единственно правильный и ты действительно счастлив? Прости, я не верю. Потому, что вижу твои глаза. А в них счастья нет, уж извини.

— Все хорошо, Ириш! — повторил он. — Кроме одного. — Он поднял на нее глаза и повторил: — Кроме одного, Ирка. Тебя рядом нет.

Она растерялась, смутилась, покраснела и усмехнулась:

— Ну папа... Это был твой выбор, уж извини. И вообще, — она глянула на часы, — мне пора. Нет, правда, пора! — зачем-то стала оправдываться она. — У меня встреча.

— Да, да, конечно! — забормотал отец. — Я все понимаю! Спасибо, что выкроила время!

Сказано это было безо всякой насмешки или подкола — видимо, он не рассчитывал, что дочь вообще согласится на встречу.

В гардеробе он отодвинул услужливого гардеробщика и сам осторожно надел на нее пальто.

Гардеробщик, похожий на адмирала в отставке, усмехнулся в густые усы.

— Дочка, — смущенно буркнул отец. — А вы что подумали?

Тот пожал плечами — дескать, мне что за дело.

Рина с отцом вышли на улицу. По крышам звонко и радостно барабанила капель, и воздух отчетливо пах долгожданной весной.

— Проводить тебя? — осторожно спросил отец. — Или торопишься?

— Тороплюсь, — кивнула она, — сама доберусь, спасибо.

Отец поежился и приподнял воротник куртки.

— Ирка, — тихо сказал он, — ты... Ну, словом... Чуть вырастешь и... Поймешь меня, я уверен! Не может быть, чтобы не поняла.

Она резко перебила его:

— А я уже выросла, папа, только ты не заметил. — И она быстро пошла к метро. «Скорее бы домой, — билась в голове единственная мысль. — Скорее бы! Остаться одной, а уж там, дома, наревусь в полную силу. И слава богу, что мама на работе».

Наревелась, конечно. Потом залезла под горячий душ — сильно знобило. «Заболеваю, наверное, — с тоской подумала она. — А как не хочется!» Выпила горячего чаю, согрелась и немного повеселела — так, значит, так. В конце концов, это их, родителей, жизнь. А у нее — своя.

Кстати, спустя довольно много лет она узнала от Шурочки, что тогда у отца случились страшные неприятности и на работе: служил он в проектном институте, его лаборатория готовила очень важный проект — новаторский, предварительно прошедший кучу инстанций, проверок и получивший отличные рекомендации. Все шумно радовались и не сомневались в успехе. Но — кто бы мог подумать? — на самой последней инстанции проект

был разгромлен и зарублен. Такого никто не ожидал — даже самые ярые противники и завистники. Отец, один из главных авторов этого проекта, здорово тогда надломился. Он мотался по комиссиям, отстаивал и настаивал. Никто его не поддержал, над ним уже начали откровенно смеяться и крутить пальцем у виска: против кого прет этот чудила Корсаков? В результате он ушел из института, сказав на собрании коллегам, что вести себя, как они, могут только предатели и саботажники.

Тогда у отца и открылась застарелая язва. Конечно, на нервной почве.

Маме про встречу с отцом она ничего не рассказала — зачем? Понимала, что это той неприятно.

Как-то спросила:

— Переживаешь?

Шурочка вздрогнула и раздраженно ответила:

— Да вот еще! Много чести! Что переживать из-за дурака? Да бог с ним! Плохого я ему не желаю. И хорошего, впрочем, тоже.

«В этом вся мама, — подумала Рина. — Все понимает, но обида-то есть — никуда не делась обида. Еще бы — бросить ее, красавицу Шурочку! Ну и правильно, что не страдает. Она молодая женщина, она красавица и, в конце концов, не монашка, готовая прощать все и вся. Не святая — ударят по левой щеке, подставь правую. Она — обычная живая женщина. И она хочет жить».

* * *

Отец приезжал раз в полгода или чуть реже. Конечно, они встречались. Но постепенно Рина поняла, что встречи эти формальные и, скорее всего, никому не нужные — ни ей, ни отцу. Она его не простила. Он исполнял свой

родительский долг, она — свой дочерний. Или у него все-таки было не так?

Со временем говорить им стало особенно не о чем. Рина давала короткий и скупой отчет — здорова, учусь, работаю. Точнее — подрабатываю. Кавалеры? А как ты думаешь? Разумеется! В общем, в подробности не вдавалась. И про его дела она просто не спрашивала — много чести, как говорила мама. Да и о чем она должна была его спрашивать? Как твоя семейная жизнь? Как поживает твоя драгоценная Валентина?

Извини — неинтересно.

Да и отец, кажется, окончательно пришел в себя — глаза у него были спокойные и даже счастливые. И это было особенно больно — значит, там все сложилось. А Рина, если честно, надеялась. Надеялась, что *там* не сложится, что он опомнится и... И вернется. Но вышло не так — он спокойно живет без нее, без единственной дочери. Правда, теперь в хорошие рестораны отец ее не приглашал, а приглашал в недорогие кафе. Она знала, что работает он в поселковой школе, преподает математику и геометрию, плюс его нагрузили черчением — с учителями в провинциях плохо. Ну и хорошо — лишние деньги! «Хотя, — усмехался он, — какие там деньги! Если бы не хозяйство...»

— Хозяйство, — насмешливо кивала Рина, — коров, что ли, доишь?

Одет отец был, если честно, тоже не очень. Было видно, что донашивает то, что есть. Ну да ладно, не ее проблемы.

А у нее своих до фига. Двадцать лет, знаете ли, возраст любви и огромных проблем.

Кстати, ее скороспелый брак и почти немедленный развод отец прокомментировал сухо:

— Ну, значит, попробовала? И как, набралась опыта?

Рина с деланым равнодушием кивнула:

— Ага.

Но разозлилась: «Тоже мне, учитель жизни! На себя посмотри!»

С годами отец приезжал все реже, сетовал, что устает от Москвы, отвык от ее суеты, вечно бурлящей толпы и равнодушных, усталых людей. Рина удивлялась и в который раз не понимала: да чем же так хороша та его жизнь, в медвежьем, забытом богом углу? Лица москвичей ему нехороши? А видеть каждый день одни и те же лица? Какая скукота! Сталкиваться с ними на работе, в магазине, на почте или на автобусной остановке? Всем послушно кивать, интересоваться их делами и здоровьем, обсуждать с ними урожаи и надои молока и знать всех поименно?

Нет, извините! Она бы, например, ни за что, ни за какие коврижки и ни на что не променяла Москву, любимую, шумную, хлопотливую и прекрасную Москву. Да разве есть города красивее и лучше? Нет, и Ленинград она обожала! Но после смерти бабушки Маши вернуться туда не решалась.

Спустя много лет Рина увидела другие города, не менее прекрасные, чем ее родная Москва. Но это никак не изменило ее отношения к столице — она навсегда осталась ее преданной и верной поклонницей. Но, если уж совсем честно, с годами и она стала от Москвы уставать — бесконечные пробки отнимали полжизни. Да и нынешняя Москва здорово изменилась и давно перестала быть теплой и родной.

А отец продолжал восхищаться деревней. Однажды Рина сказала:

— Кажется, ты сам себя хочешь убедить.

— В чем? — не понял отец.

— Да в том, что все сделал правильно.

Он ничего не ответил, только внимательно посмотрел на нее и отрицательно покачал головой.

В гости, конечно же, приглашал. Сулил всякие радости и удовольствия — например, рыбалку и грибную охоту.

— Ирка! Ты даже не представляешь, что это за счастье — встать на рассвете, когда еще трава мокрая от росы, а солнце еще только-только, лениво и нехотя, выползает из-за горизонта и еще сыро и прохладно, и ты накидываешь ватник и влезаешь в резиновые сапоги и идешь на берег. «Идешь!» Смешно! Всего-то десять шагов! Нет, ей-богу, именно десять, я считал! А речка? На твоих глазах из неприветливой, серой, свинцовой она голубеет, светлеет и начинает искриться, переливаться, сверкать на солнце, манить, обещать-соблазнять, в общем, — смутился отец.

— А ты поэт, пап! — усмехалась она.

— Да при чем тут поэт? — обиделся отец. — Так все и есть, уж поверь! И ты закидываешь удочку, — с восторгом продолжал он, — и садишься на землю. По большому счету, тебе наплевать, сколько ты натаскаешь карасиков или плотвы, хотя натаскаешь уж точно! Нет, дело не в этом. Ты пытаешься охватить взглядом всю эту немыслимую красоту, этот берег, реку, лес вдалеке, поле за лесом. И тишину. Вот это меня каждый раз потрясает. Такая тишь, что начинает звенеть в ушах, веришь? Нет, звуки, конечно, есть — живая же природа! И птицы тренькают, и лягушки поквакивают. И речка тихонько всплескивает все еще сонной водой. И деревня наша начинает подавать признаки жизни, пока еще сонные, вялые.

И все-таки тишина. А солнце уже поднялось и начало припекать. И ты скидываешь ватник и уже маешься в

жарких сапогах. И тут начинается. Таскаешь эту мелочовку одну за другой — карасиков, плотвичек, окуньков и прочую шушеру. Мелочь, а вкуснота! В муке обваляешь и на раскаленную сковородку. Поверь, дочь, вкуснее ничего нет. Какие там деликатесы! И к ней, к этой сковородке, молодая картошечка, своя, из огорода, — мелкая, с крупный орех, самая первая, да со своим укропом! Сначала отварить, а потом слегка обжарить на топленом масле. Эх, красота... А вечера? Тихие, теплые, спокойные. Прокукует кукушка, из-за елки вспрыснет какая-то мелкая птичка. И снова немыслимая, оглушительная тишина. И благодать. И расцветает душа, и все отпускает, ей-богу. И так становится хорошо и спокойно... Давай, Ирка, приезжай! Ты вон бледная, как сметана. Синяки под глазами. А у нас за пару недель придешь в норму. Да еще сил наберешься на год вперед! У тебя же каникулы на носу!

— Нет уж, — усмехнулась Рина. — Я как-нибудь без ватника и удочки, извини.

— Зря ты! Не в удочке дело, в другом. Жаль, что ты этого не понимаешь. Наверное, потому, что еще молода.

Чудак. Ей-богу, чудак! Он хочет, чтобы она в свои долгожданные и драгоценные каникулы поехала в эту глухомань? Любоваться рассветом, слушать тишину и мочить задницу в мокрой траве?

Ага, как же. Нет уж, дорогой папа, поклонник рыбалки и тишины, адепт деревенской жизни. Извини — не ко мне! Я еду к морю, в Коктебель. С большой, кстати, компанией! Которая меня — ты, пап, удивишься — не утомляет, не раздражает, а только радует! И море, и теплый песок! И тоже солнце, заметь! К тому же мне что, жить вместе с твоей тетей Фросей — так называла отцовскую жену смешливая Шурочка. И в ее голосе звучали презрение и застарелая, никуда не девшаяся обида.

Кстати, о Шурочке. Через пять лет после развода она вышла замуж за своего Коли. Да, да, именно Коли! Ну и конечно, он тут же стал просто Коля, точнее Колянчик! И слава богу – никаких заковыристых норвежских имен, невозможных для русского человека. Алкрек, например, всесильный правитель. А ты попробуй-ка выговори это имя! А как вам Болдр? Это принц, между прочим. А Гэндэлф? Палочка эльфа, ха-ха! Да, этого бесшабашного и веселого норвежца звали Коли – что в переводе «черный, угольный».

Внешне «угольный» Коли был, как и положено, рыжеватым блондином с широким, «картофельным», веснушчатым носом.

Коли влюбился в Шурочку до умопомрачения – год мотался в Москву едва ли не раз в месяц, ну а потом предложил руку и сердце.

Та, надо сказать, недолго раздумывала, и, оформив брак в Грибоедовском загсе, уже через три недели они были в Тремсё.

Шурочка стала госпожой Олсен.

– Хорошо, что не Карлсон, – шутила она. – Здесь их море.

Мама была счастлива с Колей – они путешествовали на машине по Европе, стали заядлыми горнолыжниками, Шурочка научилась готовить нехитрые норвежские блюда – картофельные лепешки-блины лефсе, салаку в томатном соусе, форикоп – баранину с капустой – и знаменитый суп из лосося на сливках.

Кстати, несмотря на то что Тремсё находился всего-то в четырехстах километрах от Полярного круга, климат здесь был довольно приличный и мягкий, сказывалась близость Гольфстрима. Правда, лето было прохладное. Городок оживленный, портовый и университетский. Не-